

ТВОРЧЕСТВО А.П. ЧЕХОВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

(МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 21-23 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА)

КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА

© 2004 Л.Е. Кройчик

Воронежский государственный университет

— Есть ли у господина Чехова идеалы? — строго спрашивал А. М. Скабичевский, и сама постановка вопроса предполагала недвусмысленный ответ: идеалов у господина Чехова нет, как нет и сколько-нибудь осмысленного отношения к жизни. Как нет и целостного понимания ее сущности.

И — в доказательство:

“Ничего не разберешь на этом свете” (“Огни”)¹.

“Никто не знает настоящей правды” (“Дуэль”) [С., VII, 454].

“Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни <...> Мне все страшно... Мне страшно потому, что я ничего не понимаю” (“Страх”) [С., VIII, 131].

“Вы боитесь жизни, — бросает Неизвестный Георгию Орлову в “Рассказе неизвестного человека”, на что тот признается: “Да, начать новую жизнь мне мешает трусость” [С., VIII, 189]

Впрочем, можно подобрать и другие цитаты.

Понятно, что точка зрения автора не сводима к точке зрения персонажей и что взгляд художника на мир определяется не выборкой цитат, а общим складом того, что именуется творческим наследием. Четверть века А. П. Чехов описывал жизнь во всех ее проявлениях — в событиях забавных и грустных, в поступках героев и в их переживаниях, в горестях и радостях. Слово “жизнь” мелькает в заголовках рассказов и повестей писателя, в подзаголовках пьес: “Жизнеописания достопримечательных современни-

ков”, “Жизнь в вопросах и восклицаниях”, “Жизнь прекрасна!”, “Житейская мысль”, “Житейские невзгоды”, “Моя жизнь”, “Сцены из деревенской жизни”, “Скука жизни”.

Какой же она видится художнику, эта жизнь?

Скудной, серой, бессмысленной, вялой, неинтересной, непостижимой, трудной, невероятной, состоящей из цепи случайностей. Но прежде всего — повседневной, обыденной, естественной.

В миниатюре “Жизнь прекрасна!”, опубликованной в “Осколках” в 1885 г., автор замечает: “Жизнь — пренеприятная штука, но сделать ее приятной очень нетрудно... Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва даже в минуты скорби и печали нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что “могло быть и хуже” [С., III, 235].

Комическому писателю всегда свойственно проговариваться: двадцатипятилетний Чехов, великодушно дарящий свои остроты Антоше Чехонте, Брату своего брата, Человеку без селезенки, Улиссу, человек насмешливо-ироничный, говорит в данном случае вещи серьезные. Программные, если хотите, для молодого Чехова.

Не унывать! Не пасовать (“даже в минуты скорби и печали”)! Не сдаваться! Уметь переносить свалившиеся тяготы (У миниатюры этой, кстати, существенный подзаголовок — “Покушающимся на самоубийство”).

Это не просто тающий в возрасте оптимизм молодости. Это — концепция. Это — приглашение своих современников к диалогу о смысле жизни.

Завершая русский литературный XIX век, А. П. Чехов деликатно и ненавязчиво подводит человека к ответу на мучительный вопрос: “Кто виноват?”

Кто виноват в том, что жизнь складывается не так, хотелось бы? Что мечты не сбываются? Что усилия изменить жизнь оказываются напрас-

¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. тт.1-30. — М., 1974—1983. — Т. 7. — С. 140. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в скобках в тексте, где С. — сочинения, П. — письма. Римская цифра обозначает том, арабская — страницу. Кроме оговоренных случаев, во всех материалах чеховского раздела произведения цитируются по этому изданию.

ными? Что удовольствие от прожитых лет не наступает?

Помните, с чего начинается “Чайка”?

— Отчего вы всегда ходите в черном? — спрашивает учитель Медведенко дочь управляющего имением Машу.

— Это траур по моей жизни, — отвечает Маша. — Я несчастна.

Персонажи многих чеховских произведений ощущают себя несчастными.

“Вы взгляните на эту жизнь, — говорит Иван Иванович Чимша-Гималайский, герой рассказа “Крыжовник”, — наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье” [С., X, 62].

“Зачем же эта ваша жизнь, — перекидается с ветеринаром Мисаил Полознев, — герой повести “Моя жизнь”, — которую вы считаете обязательной и для нас, зачем она так скучна, так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите уже тридцать лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым?” [С., IX, 278].

Легко эти вопросительные знаки объяснить — вслед за С. Н. Булгаковым — “бессилием добра в душе среднего человека” [2, 544], являющегося для Чехова (наравне с мужиком) главным объектом исследования. Несложно противопоставить этому бессилию души знаменитые чеховские слова из письма А. Плещееву: “Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние не выражались” [П., III, 11].

Но дело не только в противопоставлении идеального и реального в жизни.

Не только в среде, которая “заела”.

Чехов апеллирует к личности.

Помните диалог двух выпускников Московского университета в пьесе “Иванов”?

“Иванов. В двадцать лет мы все уже герои, за все беремся, все можем, а к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость?”

Лебедев (живо). Знаешь что? Тебя, брат, среда заела!

Иванов. Глупо, Паша, и старо. Иди!” [С., XII, 52].

По Чехову, человек — хозяин своей жизни, так что винить за то, что в жизни что-то не так, следует только себя. Вот вам ответ на знаменитый герценовский вопрос: “Кто виноват?”.

Чехов уповает на возможности человека. Не на абстрактную личность, наделенную интеллектом, а на конкретного доктора Михаила Львовича Астрова, на учителя словесности Никитина,

на инженера Ананьева, на профессора Николая Степановича, на студента духовной академии Ивана Великопольского, на литератора Бориса Алексеевича Тригорина.

Упования эти чаще всего не сбываются.

Почему?

Вспомним Митю Карамазова, объяснявшего противоречивость своего поведения: “Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей” [3, 100]. Чехов, как известно, относился к Достоевскому достаточно прохладно, но в этом пункте классики сходятся: как и для Достоевского, для Чехова жизнь — это вечное противостояние самому себе, и в этом противостоянии не может быть компромиссов. Победить зло можно только вечной работой души.

Душа — одно из ключевых понятий этики Чехова. Как знак дееспособности личности. По Чехову, смысл жизни — в самой жизни. Какой бы она ни казалась человеку.

В общем-то, не трудно признать, что чеховские герои боятся жизни и не знают, как ею распорядиться. Что они — дуэлянты, вызвавшие к барьеру самую жизнь. Что многие из них (особенно те, кто задумывается) не знают, как связать концы и начала собственного существования.

(В скобках — лукавый Чехов и тут однозначного ответа не дает. В повести “Огни” студент института путей сообщения Штенберг, глядя на огни рабочих, строителей железной дороги, размышляет: “Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то умершем, жившем тысячи лет назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян... Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их след простыл. Так и с нами будет... В сущности это ужасно” [С., VII, 107].

В рассказе “Студент” (“...Из моих вещей самый любимый мой рассказ “Студент” [4, 484], — признавался Чехов Бунину) студент духовной академии Иван Великопольский, бродя весной с ружьем в родных краях, думает о том, “что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше” [С., VIII, 306].

Но нечаянная встреча у костра с женщинами на “вдовьих огородах”, слезы слушательниц, которым Иван напомнил евангельскую историю о Петре, заставляют студента подумать о том, “что, очевидно, то, о чем он только что рассказывал,

что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обоим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям <...> Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого <...> А когда он переправлялся на пароме через реку... то думал о том, что правда и красота... по-видимому, составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла” [С., VIII, 309].

Штенбергу — двадцать три-двадцать четыре года. Чехову — в год написания повести — двадцать восемь. Великопольскому — двадцать два.

Или другой момент. Позади Сахалин и в самом разгаре болезнь. Чехову — тридцать четыре. А впереди “Чайка”, художественный театр. Ольга Леонардовна Книппер...

В произведениях Чехова торжествует жизнь. В этом смысле вполне резонно считать Чехова предтечей мирового экзистенциализма. Писатель призывает человека ценить то, что ему даровано, и сожалеть о том, что люди не в состоянии распорядиться богатством, оказавшимся в их руках. Своим существованием на земле. Как в бытовом его варианте, так и в бытийном. Мир вовне и мир внутри в произведениях Чехова взаимосоотносимы.

Существование чеховских персонажей связано с реальностью. Четко вписано в быт. Мартин Хайдеггер не случайно расставил дефисы в своем определении “бытие-в-мире”. Человеческие переживания — производные объективного мира. Сердцевина восприятия всего сущего.

Персонажи чеховских произведений остаются один на один посреди огромного мира, пространство которого необычайно трудно освоить, но вне которого жизни не существует. Постигнуть великое таинство жизни так же невозможно, как невозможно получить ответ на вечное вопрошание человечества: Что есть истина?

Но ведь и не искать ответа нельзя. Чехов — ищет. Писатель ищет ответ, начиная с юношеской пьесы, атрибутируемой как “Безотцовщина”. Герой пьесы Платонов, “раздавленный, приплюснутый, скомканный” (автохарактеристика самого героя. — Л. К.), размышляет о самоубийстве: “Я боюсь жизни! Что будет, если я жить буду? Стыд заест один... (*Прикладывает револьвер к виску.*) Finita la commedia. Одним умным скотом меньше. Прости, Христос, мои грехи! (*Пауза.*) Ну? Сейчас смерть, значит <...> Нет

сил. (*Кладет револьвер на стол.*) Жить хочется. (*Садится на диван.*) Жить хочется” [С., XI, 175].

Жить хочется! Сквозь выстрелы, звучащие в чеховских рассказах, повестях, пьесах (“Володя”, “Дуэль”, “Иванов”, “Чайка”, “Дядя Ваня”, “Три сестры”), постоянно прорывается этот мотив — жить хочется. Несмотря ни на что.

Герой повести “Три года” Ярцев признается собеседнику: “Никакая философия не может примирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется <...> Жизнь, голубчик, коротка, и надо прожить ее получше” [С., IX, 75]. Сказано, замечу, задолго до хрестоматийной фразы из романа Николая Островского “Как закалялась сталь”.

Жизневосприятие Чехова я бы назвал “оптимистическим скептицизмом”. В его концепции жизни нет безысходности. Финалы его произведений открыты, не только потому, что в них продолжается прежняя жизнь. Важно и другое — жизнь продолжается. Та самая жизнь, “обустроить” которую дано самому человеку.

Жизнь, действительно, прекрасна, если в основе ее лежит ощущение абсолютной внутренней свободы, правды и красоты, достоинства, веры в собственные силы и в справедливость. Сотворить такую жизнь возможно, если победить лень души, если не подменять реальность миражами.

— Неси свой крест и веруй! — говорит Нина Заречная. Вот очевидная материализация концепции оптимистического скептицизма: тяжкая ноша и вера — две составляющих повседневной жизни. Другой не дано.

Томас Манн в своем этюде “Слово о Чехове” писал о необычайно трезвом, критическом и скептическом отношении писателя к самому себе, о неудовлетворенности писателя всем трудом своей жизни. Но не менее скептически Чехов относится и к героям, которым даровал литературную жизнь. Это не был скепсис разочарованного и недовольного жизнью человека. За скепсисом и иронией — желание видеть человека иным.

И прежде всего — добивающимся своей цели. Подчеркну — цели нравственной.

В. А. Свительский в одной из своих работ, посвященной творчеству Н. С. Лескова, пишет о том, что тот превращает описание жизни Ивана Северьяновича Флягина в житие, в том высоком смысле, какой имело это слово в старину... “Но не к достижению святости направлено житие странника. Скорее человеческое начало испытывается в нем” [5, 324]. Чехов принципиально лишает жизнь персонажей своих произведений какого бы то ни было ореола святости. Что не отменяет их проверки на нравственную прочность.

Художники нередко подбрасывают своим героям произведений проверочные задания — своеобразные экзамены на мужество, стойкость, верность идеалам. И т. п.

Главное испытание чеховских персонажей — испытание бытом. Максимально ритуализированной повседневностью.

Быт у Чехова не противостоит бытию. Бытие всего лишь фамильяризуется до бытового уровня. До заурядности. До очевидной простоты. Выясняется, что сокровенное — это простые вещи, окружающие человека ежедневно. Все переживания чеховских героев вертятся вокруг простых вещей. Вокруг подробностей быта.

Герой “Скучной истории”, знаменитый на всю Европу профессор Николай Степанович, не знает, как ответить Кате на крик ее души: “Что мне делать? <...> Клянусь вам, что я не могу дальше так жить! Сил моих нет!” [С., VII, 308]. “Не знаю, — говорит светило науки. И добавляет: “Давай, Катя, завтракать”.

Бытовое пространство жизни не подменяется бытийным — они слиты воедино.

В рассказе “Архиерей” отец Сисой беседует с Марьей Тимофеевной, матерью преосвященного отца Петра: “Отец Сисой говорил о политике:

— У японцев теперь война. Воюют...

А потом послышался голос Марьи Тимофеевны:

— Значит, Богу помолившись, это, чаю напимшись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное <...>

— А потом что? — спросил Сисой...

— А потом чай пили, — отвечала Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у вас борода зеленая! — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась” [С., X, 192].

Слушающий этот разговор архиерей отец Петр, медленно угасающий от навалившегося на него недуга, думает о матери: “Похоже было, будто в своей жизни она только и знала, что чай пила”. Война с Японией, зеленая борода отца Сисоя, “чай пили” — все это явления соразмерные, одинаково важные для собеседников. Каждый живет своим. Каждый имеет право на свой голос. Или иначе — в мире, окружающем человека, все важно, все связано.

Все близко. Все может быть объяснено по-своему. Майя Туrowsкая приводит высказывание В. И. Немировича-Данченко о Чехове: “Он знал жизнь трех сестер тем интимным знанием, каким мы понимаем без слов, что значит обмен или ремонт квартиры, поступление сына в институт или распределение на работу” [6, 267].

Слова найдены — “интимное знание”. Интимное знание свойственно и персонажам чехов-

ских произведений, которые не мыслят себя вне привычной обстановки, в которой чувствуют себя комфортно — в знакомой обстановке собственного дома, служебного помещения, на даче, в театре, в условиях привычного Ритуала. Ритуала, который упрощал отношения героя с миром.

Показательно, что Ритуал в чеховских вещах — не нечто, привнесенное в жизнь извне, а результат деятельности самих людей. Ритуал облачает ориентацию человека в мире. Делает жизнь привычно обустроенной. Создает иллюзию ее постижимости и понятности.

Всякий раз, когда Ритуал нарушается, герой попадает впросак: толстый человек в бане просит тонкого пройти веником по своей спине, что тонкий и исполняет. В предбаннике, когда герои надевают мундиры, выясняется, что тонкий толстого выше чином. В рассказе “Учитель словесности” милая ритуальная интеллигентность общения в доме Шелестовых оборачивается трагедией для учителя Никитина, вдруг разглядевшего пошлость и этого дома, и жизни, его окружающей.

Впрочем, почему — “вдруг”? Рассказ начинается с выезда героев на верховую прогулку. Никитин “глядел на ее (Маши Шелестовой. — Л. К.) маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старше, чем она была, глядел с радостью, с умилением, слушал ее, мало понимал и думал: “... Сегодня же объяснюсь с ней” [С., X, 310].

Целый набор характерных подробностей (“маленькое стройное тело”, “белое гордое животное”, “цилиндр, который не шел к ней и делал ее старше”) — и радость, умиление, “сегодня же объяснюсь с ней”. Может, потому — что “мало понимал”?

Чехов делает Ритуальное восприятие жизни частью сознания героя. Фамильяризует бытийное.

Эта фамильяризация проходит через все творчество писателя — от “Письма кученному соседу” до “Невесты”. Хотя понятно, что принципы взаимоотношений героя с миром и автора со своими героями претерпевают естественную эволюцию. От пародии и иронического гротеска в изображении отставного урядника Войска Донского Василия Семибулатова, легко и свободно размышляющего об устройстве Вселенной, до отца Андрея в рассказе “Невеста”, любящего порассуждать о вере.

“Вера значительно сокращает нам область таинственного”, — говорит отец Андрей [С., X, 205]. И фраза эта тут же монтажно стыкуется с маленькой подробностью происходящего: “Поддали большую, очень жирную индейку. Отец

Андрей и Нина Ивановна продолжили свой разговор. У Нины Ивановны блеснули бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась” Помните — аналогичный монтажный стык в “Ионыче” при описании того, как Вера Иосифовна читает свой роман о том, чего никогда не бывает в жизни, а в открытое окно несутся соблазнительные запахи готовящегося ужина.

Быт не дискредитируется — он обретает статус значительного начала. Прежде всего — в глазах верящих в эту значительность персонажей чеховских произведений. Вера — и жирная индейка. Блеск бриллиантов — и блеск слез. А спорто идет о смысле жизни.

— В жизни так много неразгаданных загадок, — говорит Нина Ивановна.

— Ни одной, смею вас уверить, — возражает отец Андрей.

Кто прав? Чехов предлагает читателям самим поискать ответ на этот вопрос. Писатель смотрит на окружающий его мир глазами человека, понимающего, что суть реальности не в отвлеченных размышлениях о ней, а в повседневных заботах, тревогах, страхах, обидах, проблемах, поступках.

Главный герой чеховских произведений — мерное течение жизни. И — разумеется — ничем не замечательный обыкновенный человек. Масовидный. Один из... Человек толпы. Не Осип Степанович Дымов, а жена его Ольга Ивановна, дама, вошедшая в рассказ “Попрыгунья” без собственной фамилии. Просто — “попрыгунья”.

Утверждая, что повседневность — смыслодержущая составляющая жизни, Чехов отказывается от концепции героя как личности незаурядной, ведущей за собой остальных. Даже самые незаурядные принуждены растворяться в толпе. Вспомним, кстати, хвалу толпе из уст доктора Дорна в “Чайке”. Толпа — одна мировая душа. Подстать ей — и жизнь.

В повести “Степь” мелькнула среди описания необъятных просторов, открывшихся Егорушке, маленькая деталь: “Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни” [С., VII, 17]. Со “Степи” на смену герою, воспринимающему жизнь такой, какая она есть на самом деле, приходит человек, пытающийся понять, почему жизнь скучна, неопытна и нет ли возможности хоть как-то ее изменить. Задумывающийся герой.

Потом — с “Чайки” — явится герой, идущий точку опоры. В вере. В иллюзии, в самообмане. В поисках идеала.

Надя Шумина, героиня рассказа “Невеста”, накануне замужества, о котором она мечтала,

вдруг почувствует, что все пропало, что будущее не радует ее: ей “почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!” [С., X, 202].

“Так” — это стук ножей на кухне, это запах жареной индейки и маринованных вишен.

“Так” — это затворничество в новом доме, специально приготовленном для молодоженов.

“Я еще молода. Я жить хочу, а вы из меня старуху делаете!” [С., X, 213] — говорит Надя матери. И как заклинание звучит:

— Я жить хочу!

И далее:

“О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет” [С., X, 219].

“Жить хочется!” — в первом произведении Чехова. “Я жить хочу!” — в последнем. Кольцевая композиция творческой биографии Чехова определяет сюжет собственной жизни писателя — его готовности принять жизнь как чудо, сотворенное собственными руками.

Репетируя “Трех сестер”, Г. Товстоногов подчеркивал: чеховские персонажи постоянно стоят лицом к лицу с жизнью. Задача сводится к одному: “Надо взять жизнь на себя” [7, 119]. Сделать этот неимоверно трудно. Недостает желания. Проще — уйти в иллюзию. Выдумать жизнь такой, какой ее хочется видеть. Какой она могла бы быть.

Чеховские мечтатели — Соня, сестры Прозоровы, Петя Трофимов, Аня, Надя Шумина — знают хорошие слова о будущей жизни, но не знают дороги к ней.

— Если бы знать! Если бы знать! — вздыхают сестры Прозоровы.

— Покажите, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам, — призывает Надю Шумину тяжело больной Саша.

И Надя уходит из дома. Навстречу жизни новой, просторной, широкой, полной тайн.

Обратите внимание на противостояние реальности и мечты: неподвижная жизнь — новая; серая — и широкая, просторная; грешная — и полная тайн.

Одно смущает — прощальная реплика автора: “Надя пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда” [С., X, 220].

“Оптимистический скептик” Чехов не мог обойтись без этой иронической пряности — “как полагала”...

Непостижимость жизни отменить невозможно.

* * *

ЛИТЕРАТУРА

14 февраля 1904 года в письме к Л. А. Авиловой Чехов советует: “Будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле, она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, — это еще вопрос” [П., XII, 35].

Через пять месяцев будут бокал шампанского в Баденвейлере и слова прощания: “Ich sterbe”.

“Ich sterbe” (“Я умираю”) — не подведение итогов, а грустное расставание с миром.

Прекратилась для Антона Павловича Чехова “жизнь, которой мы не знаем”.

Акто знает?

1. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. — М., 1974.

2. Булгаков С. Н. Чехов как мыслитель / С. Н. Булгаков // А. П. Чехов: Pro et contra. — СПб., 2002.

3. Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. — М., 1976.

4. Чехов в воспоминаниях современников. — М., 1959.

5. Свительский В. А. Русская литературная классика XIX века / В. А. Свительский. — Воронеж, 2003.

6. Цит. по кн.: Смелянский Анатолий. Наши собеседники / А. Смелянский. — М., 1981.

7. Товстоногов Г. Зеркало жизни / Г. Товстоногов. — Л., 1980. — Т. 2.